

Хозяева

ЭДУАРД СЕРОУСОВ



Эдуард Сероусов Хозяева

<https://litres.ru/74170197>

SelfPub; 2026

Аннотация

Полярная сверхглубокая скважина «Глубина-9» подходит к отметке тринадцать тысяч метров — рекорду, ради которого страна два десятка лет вкладывала деньги, ордена и человеческие жизни. Старый геофизик Пётр Кремнёв, тихо доживающий на станции консультантом рядом с угасающей от деменции женой, слышит на ленте самописца знакомый ритм, от которого бежал всю жизнь. Земля под ними считает — ровно, терпеливо, сбиваясь на третьей доле. И этот сбой — их скважина. Камерная история о трусости, поздней правде и о любви, что помнит долю больше, чем имена.

Содержание

Часть первая. Подписи	4
Часть вторая. Ещё километр	17
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Эдуард Сероусов

Хозяева

Часть первая. Подписи

Слово «чайник» он выводил уже в третий раз за месяц.

Скотч отходил от эмали неохотно, тянул за собой серую нитку старого клея, и Пётр Николаевич подцеплял её ногтем, прежде чем наклеить свежую полоску. В кухонном отсеке плотно, по-больничному, стоял ацетоновый дух маркера. Он писал крупно, печатными, чтобы читалось без очков: Ч-А-Й-Н-И-К. Подумал — и приписал ниже, помельче: «кипит, когда горит синяя».

Подписей в их двух каморках набралось уже десятка четыре. Кран — «холодная / горячая». Выключатель — «свет». Дверца шкафчика — «твои таблетки, утро и вечер». Он развесил их по всему жилью, как рыбак развешивает сети, и каждое утро проверял, не отклеилось ли, не смазалось ли, не ушло ли какое-нибудь слово вслед за тем, что оно держало. Он давно понял простую вещь: болезнь забирает не сразу и не всё разом. Она забирает по одному слову, по одному лицу, по одной дороге, и делает это тихо, без боли, так что и не заметишь, пока однажды человек не остановится посреди собственной кухни, не понимая, что за предмет держит в

руках и зачем. Подписи были дамбой. Он знал, что дамбу в конце концов размост. Но пока держал.

— Это ты написал.

Марина стояла в дверях, придерживаясь за косяк. Волосы со сна примяты с одного боку, и оттого лицо казалось моложе — таким он помнил его через всю жизнь, поперёк всех лет. Она смотрела на банку в его руках так, будто он держал что-то её, отобранное.

— Я, — сказал он. — Почерк узнаёшь?

Она наклонила голову, и губы её зашевелились, разбирая буквы поодиночке — как разбирают чужой язык, в котором вдруг находится знакомый корень.

— Чай. Ник. — Она подняла глаза, и в них мелькнуло торжество, короткое и чистое, как у ребёнка, впервые прочитавшего вывеску. — Чайник. Твой почерк. Ты пишешь «к» с хвостиком вверх. Всегда писал.

— Всегда, — согласился он.

Он не сказал, что помнит, как этот хвостик у «к» она передразнивала сорок лет назад — молодая, дерзкая, чертила его на полях его же расчётов, и он злился, а потом перестал злиться, потому что понял, что будет видеть этот передразненный хвостик всю жизнь и что это хорошо. Теперь она не помнила, что дразнила. Помнил он. Так у них было теперь во всём: на двоих оставалась одна память, и носить её приходилось ему одному.

— Зачем ты подписываешь чайник, Петя?

Торжество погасло так же быстро, и на его место наплыла тень: она чувствовала, что вопрос неправильный, что за ним прячут что-то, чего ей не говорят. Он знал это выражение наизусть, как знают собственный пульс: она стояла сейчас на самой кромке понимания, и заглянуть за край ей было страшнее, чем ему.

— Чтобы ты не обожглась, — сказал он легко, и ложь вышла привычной, гладкой, отработанной за месяцы. — Синяя лампочка — кипятик. Я и розетки подписал, и вентиль. Порядок. Мы же с тобой любим порядок.

Тень отступила. Марина улыбнулась и пошла к столу, шаркая тапками по стальному полу, и он смотрел ей в спину и держал банку, на которой ещё не просохли его печатные буквы, и думал, что стал за этот год виртуозом маленькой лжи — той, что бережёт. Всю жизнь он солгал только один раз по-крупному и одному человеку. А теперь лгал по мелочи, каждый день, женщине, которую любил, — и научился делать это с нежностью.

За переборкой, в каморке-сейсмопосте, шелестел барабан самописца.

Он оставил Марину над пустой пока кружкой — вода грелась — и заглянул к себе. Эту рухлядь он держал из упрямства: всё давно шло на экран, дублировалось на сервер, барабан с вощёной лентой был анахронизмом, музейной вещью, над которой посмеивались молодые операторы. Пусть смеются. Перо на ленте Пётр читал так, как они читать разу-

чились, — кожей, не глазами. Сорок лет руки помнили, где дрожь земли, а где дрожь машины, и рукам он верил больше, чем экрану.

Сейчас перо чертило ровную рябь буровой: гул колонны сквозь двести метров мерзлоты, толчки насосов, вздохи компрессоров — знакомое до зевоты. Он потянулся выключить лампу над барабаном.

Перо дёрнулось.

Не спазм, каким лента отзывается на дальний ледовый разлом, — не рвань, не выброс. Мелкая складка. Ещё одна. И ещё — ровными долями, будто за переборкой кто-то считал вполголоса и постукивал по столу в такт: раз, и два, и три-и — пауза — раз, и два, и три-и.

Он застыл с рукой на выключателе. В камерке было тепло, пахло пылью и озоном от приборов, за стеной звякала кружкой Марина, — и посреди всего этого домашнего, обжитого, лента чертила то, чего тут быть не могло. Большой палец сам нашёл костяшки левой руки и принялся их тереть — медленно, будто счищая тот же невидимый клей, что оставался на пальцах от скотча.

— Наводка, — сказал он тихо, чтобы не услышала Марина. — Станция фонит. Насосы поймали резонанс.

Он сказал это ленте. Лента считала дальше — терпеливо, ровно, чуть сбиваясь к третьей доле, как сбивается уставший метроном, — и не соглашалась. Он знал этот почерк. Он бежал от него полжизни, через целую жизнь, и вот тот же по-

черк догнал его здесь, на краю света, в двух шагах от койки, где спала, теряя имена, его жена, и чертил на ленте одно и то же, будто спрашивал: узнал?

Он узнал. Он выключил лампу и вышел, и притворился перед собой, что не узнал, — точно так же, как минуту назад притворялся перед Мариной, что подписывает чайник от ожогов. Только та ложь была во спасение. А эта — он ещё не знал, чего эта.



Свет мигнул дважды и сел — не погас, а сел, как садится голос под конец долгой песни. Лампы налились тусклой медью, экран самописца моргнул и перешёл на резерв.

— Генератор, — сказал Пётр. — Второй контур.

Без тревоги. Дизель дублирующей линии капризничал всю зиму; на большой станции его давно бы списали, но их сейсмопост висел на отшибе, на своём питании, и до начальства руки не доходили. Пётр снял с гвоздя телогрейку. Сорок лет назад — на Ветлинском, на Памире, на десятке безымянных профилей, куда их забрасывали вертолётom на всё лето, — он чинил такие дизели голыми руками, в темноте, на морозе, и Марина светила ему фонарём и подавала ключи, не путая размеров. Они были полевая пара, из тех, что срабатываются намертво: он читал землю, она держала лагерь, приборы, его самого. Играть в четыре руки на разбитом лагерьном пианино — это было потом, зимами, между сезонами. А летом они играли в четыре руки на моторах, палатках

и жизни.

— Я с тобой, — сказала Марина.

Не обсуждалось: спорить выходило дороже. Оставить её одну в мигающем свете значило вернуться к панике. Он застегнул на ней куртку до горла — пальцы делали это сами, привычно, как подписывают конверт, — и они вышли в тамбур, где навалился холод, чистый и злой, и дальше, в пристройку, где стоял дизель.

Пётр откинул кожух. Запах солярки, стылого металла, нагара. Он знал этот мотор наизусть: где стучит, где подмазать, где клапан ходит с люфтом. Присел на корточки, подсвечивая фонарём, и стал слушать.

Дизель работал. Работал — и не тянул. Обороты гуляли: набирал, ронял, снова набирал.

— Форсунка, — пробормотал он. — Или подача. — Потянулся к регулятору, покрутил на слух. Мотор огрызнулся, кашлянул, выровнялся на секунду и снова провалился. Пётр нахмурился. Тридцать лет назад он собрал бы этот дизель с завязанными глазами. Руки помнили — а мотор не слушался, и он злился на свои руки, на свои семьдесят два, на то, что тело сдаёт первым, раньше головы, а у Марины наоборот, и оба они — каждый по-своему — разваливались, оставаясь целыми только вместе.

Марина стояла рядом, сунув ладони под мышки, и смотрела в его подсвеченные фонарём руки. И вдруг подалась вперёд.

— Он неправильно считает, — сказала она.

Пётр обернулся. Она хмурилась — не растерянно, а сосредоточенно, тем давним лицом, каким когда-то читала партию.

— Что?

— Слушай. — Она сняла ладонь из-под мышки и положила на кожух, растопылив пальцы. Постучала — легко, ровно: раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. — Вот так надо. А он... — Подождала, ловя момент, и на «раз» следующего такта мотор дрогнул, споткнулся, съел долю. — Слышишь? Он сбивается. На доле спотыкается. Вот тут. — Она стукнула по кожуху ребром ладони, точно попадая в провал оборота.

Пётр смотрел то на её руку, то в нутро мотора. Она не знала слова «форсунка». Она полчасика назад по слогам разбирала слово «чайник». Но провал оборотов поймала — не логикой, не знанием, а тем слухом, каким сорок лет назад держала темп в четыре руки, пока он переворачивал ей ноты, и каким слышала фальшь в его расчётах раньше, чем он находил ошибку в цифрах. Слух уходил у неё последним. Или не уходил вовсе — прятался глубже слов, глубже имён, в том слое, куда болезнь ещё не добралась.

Он повернул винт подачи — ровно на ту долю, которую она отбила. Не по прибору. По её руке.

Мотор поймал оборот. Гул выровнялся, налился, стал ровным и полным. Лампы в пристройке разгорелись.

— Вот, — сказала Марина удовлетворённо и убрала руку.

— Теперь считает правильно.

— Спасибо, — сказал он наконец. И, помолчав: — Ты всегда лучше меня слышала долю.

Она уже не слушала. Смотрела в тёмный угол пристройки, и лицо её опять разглаживалось, теряя ту секундную остроту, — уходило, как уходит мелодия, если перестать её напевать. Пётр закрыл кожух, вытер руки ветошью и взял её за руку, и её пальцы, привычные к его ладони за полвека, сами собой отбили на его коже короткий такт — раз-два-три-четыре — и затихли.

— Пойдём в тепло, — сказал он.



Утром в диспетчерской пахло растворимым кофе и разогретой электроникой. Пётр пришёл с ночной лентой — так полагалось, консультант сдавал сводку — и задержался в дверях, пережидая общий гул.

Диспетчерская была сердцем станции: два ряда пультов, стена экранов, вечно включённый чайник, подписывать который никому не приходило в голову, запах людей, работающих в три смены на краю земли. На главном экране цифра за цифрой набегала глубина: двенадцать тысяч триста сорок метров. Под этой цифрой жила вся станция. Ради неё завезли по зимнику сотни тонн железа, ради неё полярной ночью не гас свет, ради неё двести человек ели консервы и не видели родных по полгода. Двенадцать тысяч триста сорок — и каждый метр был чьей-то премией, чьим-то орденом, чьим-

то оправданием прожитой тут зимы.

Демидов стоял у экрана. Начальник бурения был из тех, кому камера идёт больше, чем жизнь: крупный, ровный, с голосом, каким объявляют и рекорды, и катастрофы одинаковым тоном. На груди у него поверх свитера висел на шнурке латунный штангенциркуль — потемневший, старый, нерабочий. Дедовский, с уральских рудников, семейная реликвия; Демидов трогал его, когда думал, — как другие трогают крестик.

Рядом, чуть поодаль, стоял буровой мастер Кузьма — немолодой, тяжёлый, молчаливый, с руками, каждая из которых была шире двух Петровых. Он не смотрел на экран. Он стоял, положив широкую ладонь на стальную стойку пульта, и слушал станок телом — так конюх слушает лошадь через круп. За неделю Пётр не услышал от него и десятка слов, но доверял ему больше, чем всем экранам разом: этот слушал руками, как он сам. Они были одной породы, старик-геофизик и молчаливый мастер, — из тех, кто верит пальцам раньше приборов.

— Пётр Николаевич! — Демидов заметил его по отражению в экране, не оборачиваясь. — Что нам споёт ваша шарманка?

— Помехи, — сказал Пётр и положил свёрнутую ленту на стол. — Периодическая наводка в сейсмике. И аномальный фон по гелию на выходе раствора. Стоит проверить датчики.

— Датчики в норме, проверяли утром. — Демидов обер-

нулся, и на лице было крупное, доброе довольство. — Гелий — это глубина дышит, Пётр Николаевич. Мы с вами первыми в мире нюхаем то, чего до нас не нюхал никто. Двенадцать триста сорок. — Он произнёс цифру, как имя. — Через неделю тринадцать. Знаете, что такое тринадцать тысяч? Глубже, чем кто-либо. Глубже американцев, глубже той старой кольской дырки, где всё заглохло на двенадцати с небольшим тридцать лет назад. Страна с тех пор не могла себе позволить такого. Не было ни денег, ни воли. А мы — можем. Мы дойдём туда, куда прежняя держава не дошла.

Кто-то у пультов негромко похлопал. Демидов принял это как должное. Кузьма не шевельнулся.

Пётр смотрел на набегающую цифру, и под рёбрами тянуло — знакомо, тускло, как ноет к погоде старый перелом. Он прожил полжизни, чтобы не стоять вот так, у этой самой границы. Двенадцать тысяч триста сорок метров тонкой стальной нитью уходили вниз, в то, о чём он однажды написал своей рукой: там ничего нет, там только порода. И вот его привезли сюда — тихим консультантом, доживать, беречь Марину в глуши, подальше от суеты, — и оказалось, что глушь эта стоит ровно на той границе, от которой он бежал всю жизнь. Судьба не мстит громко. Она просто ставит тебя обратно туда, откуда ты сбежал, и ждёт, что ты сделаешь на этот раз.

— Порода бывает разная, — сказал он.

— Порода бывает одна. — Демидов улыбнулся сверху

вниз, дружелюбно и глухо, и тронул на груди штангенциркуль. — Порода. Идите отдыхать, Пётр Николаевич. Ваше дело — сейсмика во время каротажа. Рекорды — наше.

Пётр пошёл к выходу. У самой двери его нагнала девчонка из каротажной партии — тоненькая, с бумажным блокнотом, прижатым к груди, — открыла было рот, но он, весь в своём, кивнул ей мимо и не остановился.

Потом он будет это помнить. Как не остановился. Как прошёл мимо ещё одного человека, который хотел, чтобы его слышали, — потому что был занят тем, что не хотел слышать сам себя.



Ночью он не спал.

Марина дышала ровно за перегородкой, отвернувшись к стене, и в темноте силуэт её был совсем девичий. Пётр сидел в каморке при синем свете монитора и гонял туда-сюда ночную запись — ту самую рябь с провалом на третьей доле.

В архив он не полез. Архив был ни при чём. Он сверял её не с базой, а с тем, что помнил, — а помнил он, оказывается, всё, до последней складки, будто и не прошло тридцати пяти лет.

Ветлинский горизонт. Глубокая скважина в предгорьях, брезентовые палатки, движок, что глох по ночам, и они с Ильёй — молодые, злые, голодные до открытия. Илья был его студентом, потом аспирантом, потом просто — младшим, тенью, вторыми руками и второй головой; Пётр любил

его как сына, которого у них с Мариной не случилось. Они сидели вот так же над лентой, ночь за ночью, и на ленте была вот эта самая рябь — ровная, считающая, чуть сбивающаяся к третьей доле. И Илья, двадцатипятилетний, с горящими глазами, сказал слово, от которого у Петра похолодела спина, — слово, которое нельзя было писать в отчёте, потому что за него отняли бы лабораторию, финансирование, имя, всё.

«Организованный», сказал Илья. «Петя, это организованный отклик. Оно отвечает. Слышишь? Мы не одни».

Пётр закрыл глаза.

Он вспомнил, как сам, своей рукой, вписал в заключение другое слово. «Артефакт». Артефакт аппаратуры, наводка, дефект записи. Вспомнил учёный совет — душный зал, ряды лиц, графин с тёплой водой — и как он встал и гладко, убедительно, профессионально объяснил, что его молодой коллега, к сожалению, принял помеху за сигнал, что бывает по неопытности, что наука требует трезвости. Он не смотрел тогда на Илью. Он до сих пор помнил, что не смог посмотреть. А когда всё кончилось, и над Ильёй посмеялись, и его тихо задвинули, Пётр пошёл домой, к Марине, и лёг, и — вот что было хуже всего, вот что он пронёс через жизнь как камень, — уснул. Спал спокойно. Много лет спал спокойно на этой лжи, потому что она была удобной, а правда стояла бы ему всего, чего он тогда хотел.

Он открыл глаза. На экране всё считало.

— Это не сигнал, — сказал он вслух, одними губами, что-

бы не разбудить Марину. — Сигнал предполагает, что кто-то его послал. А там некому.

Он потянулся и выключил монитор. Экран схлопнулся в белую точку и погас, и в темноте ещё секунду держалось послесвечение — ровная строчка ряби, отпечатавшаяся на сетчатке, как след, который не сморгнуть.

Земля под станцией считала дальше. Ей было всё равно, горит монитор или нет, спит человек или лжёт себе в темноте. Она делала это до Петра, делала при нём и собиралась делать после — терпеливо, ровно, сбиваясь к третьей доле, будто ждала, когда наконец досчитает до чего-то. Он лежал без сна и слушал стену, и впервые за тридцать пять лет ему было не отвертеться от простой мысли: если он тогда солгал и спал спокойно — то не потому ли, что где-то в глубине всегда знал, что однажды придётся платить, и просто откладывал счёт на старость, на самый край, на вот эту полярную ночь?

Часть вторая. Ещё километр

Через три дня помехи перестали быть похожими на помехи.

Они множились. Сначала «шёпот» шёл только по ночам, потом стал держаться и днём. Гелий полез вверх — не скачком, а упрямо, как температура у больного к вечеру. Дважды глохла связь без причины; трижды сама собой сбрасывалась автоматика на буровой, будто кто-то щёлкал невидимым рубильником. Станция списывала всё на аппаратуру, на мороз, на старение — на что угодно, только не на то, что было под ней. Люди умеют не видеть; это, думал Пётр, вообще главный человеческий талант — не видеть того, что мешает делать начатое.

А он видел признаки везде, куда ни глянь, — потому что знал, куда глядеть. В механическом цехе компас на верстаке крутился без причины, и слесарь, посмеиваясь, пристукивал по нему пальцем: намагнитилось, мол, от сварки. В каптёрке сами собой размагничивались магнитные ключи. Буровой раствор, поднимавшийся из скважины, был не тёплый — горячий, и пах не так, как должна пахнуть порода: в нём стояла лёгкая, почти сладкая нота серы, которую Пётр помнил по Ветлинскому и старался не вдыхать. Один раз, проходя мимо буровой ночью, он увидел, как иней на растяжках вышки лёг не как обычно — не пушистой бахромой, а мелкими

правильными иголками, все под одним углом, будто кто-то причесал мороз. Он постоял, посмотрел — и ушёл, и никому не сказал, и всю ночь потом гнал от себя эти причёсанные иголки.

Так оно и подбиралось — не громом, а мелочью. Сначала крутится компас. Потом причёсан иней. Потом — он знал это наперёд, потому что уже видел однажды, — потом складывается лёд, и складываются города, и складывается всё. Большие беды всегда начинаются с ерунды, на которую никто не смотрит. Он смотрел. И молчал.

Женя поймала его в столовой — поставила поднос напротив и раскрыла блокнот, не спросив.

— Пётр Николаевич. Я знаю, вы консультант, а не по КИ-ПиА. Но вы единственный тут, кто читает сейсмику руками. Мне больше не к кому.

Она была из тех, кто носит данные в бумаге, не доверяя серверам. Колпачок ручки обгрызен по кругу. Под глазами — тени: считала ночами. Она развернула блокнот и ткнула в столбик цифр.

— Интервалы между всплесками в сейсмофоне. Я думала — случайные, списала на насосы, как все. Три ночи меряла, вручную, по секундомеру, потому что автоматике я больше не верю. — Подняла на него глаза, и в них было упрямство человека, который перепроверил трижды и теперь боится собственной правоты. — Они не случайные. Оно периодически. Период плавает, но держится — как пульс. Живой

пульс тоже плавает, а держится. И вот ещё. — Перелистнула. — Гелий. Отношение три-к-четырёх, изотопное. Так глубоко по учебнику не бывает: это мантийная метка, ей тут взяться неоткуда, кора должна её экранировать. А она растёт. И растёт синхронно со всплесками. Понимаете, что это значит? Не просто шумит. Оно согласовано само с собой. Один источник. Одна... воля.

Она сама испугалась слова и замолчала.

Пётр смотрел в её столбики. Всё было верно. Девочка за три ночи с бумажным блокнотом и секундомером нашла ровно то же, что он нашёл тридцать пять лет назад с целой лабораторией, и то же, что чертило сейчас перо за его переборкой. Он знал, какой ответ был бы честным. И знал, что не даст его, — потому что честный ответ означал признать вслух то, что он тридцать пять лет назад закопал, и потому что рядом за стеной спала женщина, ради которой он приехал в эту глушь доживать тихо, а не воевать с землёй.

— Периодичность бывает у резонанса, — сказал он. Голос вышел ровный, чужой, демидовский, и он сам его возненавидел. — Совпадут частоты насосов, компрессоров, вращения колонны — вот тебе и биения, хоть по часам сверяй. А гелий на такой глубине... — Он запнулся: «глубина дышит» уже стояло поперёк горла, он не мог повторить эту мерзость. — ...гелий бывает. Реликтовый, из включений. Проверь ещё раз частоту насосов. Отдельно каждый контур. И иди спать, ты трое суток не спала.

Женя смотрела на него долго. Потом медленно закрыла блокнот, и что-то в её лице закрылось вместе с ним.

— Я думала, вы скажете другое, — сказала она тихо. — Не знаю почему. Вы посмотрели на мои цифры так, будто узнали их. На секунду. Я думала — вы услышите.

Она унесла поднос. Пётр остался. Он услышал — в том и беда. Он услышал каждую ноту, узнал каждую цифру — и сделал то, что умел лучше всего на свете, что делал уже однажды и в чём не было ему равных: назвал живое шумом и отправил спать того, кто был прав.



Вечером Марина не спала. Он застал её на койке с фотографией в руках — старой, ещё ветлинской, где они оба молодые стоят у вышки; на обороте его почерком: «Ветлинский, 1990. М. и П.». Он подписывал теперь и фотографии — чтобы она не теряла, кто на них. Это было страшнее всего: не мебель, не приборы — лица. Приходило время, когда людей приходилось подписывать.

— Кто это? — спросила она, не поднимая головы.

— Это мы. Молодые. На Ветлинском.

— Я знаю, что мы. — В голосе мелькнуло раздражение, будто он не понял вопроса. Она провела пальцем по вышке на снимке. — Я спрашиваю — кто это. Вот тут. Внизу.

— Там ничего нет, Мариша. Там земля.

Она подняла на него глаза, и он вздрогнул: они были ясные. Не спутанные, не туманные — ясные и прямые, как

раньше, как всегда. В болезни бывают такие провалы наоборот — окна, когда туман вдруг расходится и оттуда, из глубины, на тебя смотрит прежний человек, весь, целиком, и от этого не легче, а страшнее, потому что знаешь: окно закроется, и ты снова останешься с тенью.

— Ты закопал это, — сказала она ровно. — Тогда. Я помню, что ты закопал. — Нахмурилась, ловя ускользящее. — Только не помню что. Что-то большое. Ты пришёл ночью и сказал: я сказал им, что этого нет. И лёг спать. А я лежала и слушала, как ты спишь, и думала: он будет об этом жалеть. Не завтра. Потом. Когда состаримся.

Пётр не мог говорить. Он всю жизнь думал, что его тайна — только его, что он один нёс тот камень. А оказывается, она всё знала, все эти годы — знала и молчала, и хранила его стыд как ещё одну общую их вещь, наравне с фотографиями и мотивами, что они играли в четыре руки. И теперь, теряя всё, теряя его имя и своё, она из всего нажитого держала последним — вот это. Его вину. Будто из всего, что было между ними, вина оказалась самым прочным.

— Мы состарились, Петя? — спросила она вдруг, и ясность дрогнула, пошла рябью. — Мы уже?

— Да, — сказал он хрипло. — Уже.

— Тогда, наверное, пора. — Она посмотрела на молодых у вышки и, кажется, уже не понимала, зачем держит карточку. — Пора выкопать. Пока я ещё помню, что ты закопал. Я же скоро не вспомню совсем. Кто тебе тогда напомним?

Она отдала ему снимок и стала устраиваться спать, деловито взбивая подушку, и через минуту забыла и фотографию, и разговор. А Пётр сидел, держа карточку с молодыми собой у вышки, за которой ровно гудел бур, вгрызаясь в ту же землю, — и впервые за тридцать пять лет думал не о том, как забыть, а о том, кто напомнит ему, когда рядом не станет единственной, что помнит его стыд. Она уходила и уносила с собой его совесть — последнего свидетеля того, каким он был. Скоро он останется совсем один со своей ложью, и некому будет даже сказать ему, что он солгал.

За стеной, ровно, сбиваясь к третьей доле, считала земля.



Он звонил Илье в четыре утра, пока решимость ещё держалась — а держалась она недолго, он знал за собой это: к рассвету снова наскребёт причины молчать.

Номер он помнил наизусть — странно, что помнил, ведь не набирал двадцать лет. Спутниковый канал трещал, глотал слова. Гудки шли долго. Пётр стоял в камерке, прижав трубку плечом, тёр костяшки и слушал далёкие гудки, и с каждым из них решимость подтаивала.

— Гуцин, — сказал голос. Хриплый, немолодой, насто-роженный.

— Илья. Это Кремнёв.

Молчание в трубке было таким долгим, что Пётр решил — связь сорвалась.

— Пётр Николаевич. — Илья не удивился. В этом бы-

ло самое страшное — что он не удивился, будто ждал этого звонка все двадцать лет и просто гадал, в какую ночь тот придёт. — Тридцать пять лет. Ты знаешь, что я даже не спрашиваю зачем? Я знаю зачем. Ты услышал его. Опять.

— Илья, послушай...

— Нет, это ты послушай. — Голос ускорился, слова полезли одно на другое, обгоняя дыхание — так он говорил и молодым, когда загорался, только теперь в этой скороговорке была не радость, а страх. — Ты на «Глубине-9». Сверхглубокая, рекорд, гелий-три — я всё читал, я слежу за каждой такой дыркой тридцать пять лет, все эти годы, каждую сверхглубокую в мире я вёл по открытым сводкам, я знал, что рано или поздно кто-нибудь дороется. Скажи глубину.

— Двенадцать восемьсот.

— Останови бур. — Илья не кричал. От того, что не кричал, было хуже. — Немедленно. Сегодня. Я не прошу, Петя. Я прошу тебя об этом тридцать пять лет. Ты тогда не остановил — назвал меня дураком перед сотней человек, поставил на мне крест, и я двадцать лет отскребал этот крест и не отскрёб, — но ты не остановил. Останови сейчас. Дай мне быть правым хоть раз, пока это ещё можно исправить, а не оплакивать.

— Это не в моей власти. Я консультант. Тут Демидов, план, рекорд, две тысячи человек...

— Твоя власть — сказать правду. Один раз в жизни. У тебя всё та же власть, что была тогда, — открыть рот и сказать

вслух то, что ты знаешь. Ты и тогда мог. Просто не захотел.

Пётр молчал. Это была правда, и оба они это знали.

— Слушай, — сказал Илья тише. — Я не в институте давно, меня выгнали, ты знаешь. Эти годы я... неважно. Сторожем был, преподавал в вечёрке, чинил телевизоры. Смешно, да? Человек, который первым в мире услышал, как отвечает Земля, чинил телевизоры. Но я не бросил. Всё считал, всё следил. И когда пошли сводки про твой рекорд, я понял: началось. Я выехал. Ещё месяц назад, как только про вас написали. Я в трёх сутках от вас, иду по зимнику на вездеходе, везу всё — старую ленту, наши расчёты, всё, что ты велел мне забыть и что я не забыл. Продержись. Останови бур и продержись, пока я доеду. Втроём мы это остановим — ты, я и правда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.